

## Америка в России.

### IV. Дядьково и хрустальная гута. – Копченые воробьи. – Рабочие типы. – Стеклянный кисель и хрустальные метеоры.

В Дядьково у станции железной дороги стоял чрезвычайно оригинальный экипаж, что-то похожее на небольшой омнибус со входом позади и скамеечками по бокам. Сверху на тонких перекладинах держался кожаный зонтик с полами, падавшими вниз; их можно было застегивать и отстегивать отовсюду. Экипаж этот заражен был превосходными лошадьми собственного завода, полученными от скрещивания пород верховой и крымской, доставляемой из таврического имения «Гайван». Кони эти красивы и сильны, с ровною, размашистою рысью. Они неутомимы при долгих переездах. Они нас мигом домчали к господскому дому, перед небольшим прудом. Величавая аллея вековых берез к главному подъезду... Отсюда видна часть села с большой белой церковью, стоящей на холме, и строениями гуты, из которых клубился дым, подымаясь прямо к безоблачному, ясному небу... Еще дальше виднелись каменные и деревянные дома местных крестьян, выстроенные на широкую ногу. Это скорее напоминает уездный городок, чем село, заброшенное в глуши и живущее только одним хрустальным производством. Большие двухэтажные кирпичные здания больницы, конторы, магазина, две крестообразно пересекающиеся улицы, обставленные хорошими постройками, кучи детей на улицах, обилие воздуха и простора – производят чрезвычайно светлое впечатление после деревень, еще недавно мучивших душу своею неприглядною и безвыходною нищетою.

Кроме прудов, работающих на завод и шлифовальни, через Дядьково бегут еще три речонки: Ольшанка, Жировка и Белая, придающая летом много очарования этому пейзажу с густыми березовыми рощами посреди села, с пышною каймою старого, кондового леса, подымающегося тут же за околицей.

Живой, энергичный старик, на обрамленном седою бородой лице которого невольно выдавались умные серые глаза, встретил нас в господском доме. Небольшого роста, лет осьмидесяти, он был быстр в движениях и силен, как молодой человек. Потом, когда я узнал его ближе, я не раз изумлялся неутомимости и выносливости этого на диво сложенного, точно для самой работы созданного природою на образец человека. По никогда не ослабляющейся энергии он казался моложе нас. Полную характеристику этой замечательной личности я дам в следующей главе. С.И. Мальцов был одет в серый армяк, такое же, как я видал и на его рабочих. В ту минуту, когда мы вошли к нему, он живо и горячо спорил о чем-то с одним из своих управляющих из крестьян, одетый в такой же непритязательный костюм...

- Очень рад вас видеть... Милости просим, смотрите и наблюдайте, - здесь есть что заметить!

Слишком много даже, как оказалось впоследствии, - настолько много, что на первый раз я, уже привычный к поездкам такого рода, просто растерялся в обилии интересного материала для наблюдения и не знал, на чем именно остановиться... В первый же день я решил осмотреть знаменитую здешнюю гуту, т.е. хрустальный завод.

Хрустальное производство в роде Мальцовых ведет свое начало еще с того времени, когда Русь порвала всякие сношения с Ганзой. Тогда один из Мальцовых отправился за границу и там, на месте, изучил новое для Московского княжества производство. Назад он вернулся уже знатоком хрустального дела, да кстати привез с собою и мастеровых «бусурманских», из немцев. Для устройства гуты ему отвели землю близ Трубчевска, а потом завод, уже действовавший и работающий на Москву, был переведен в Гжатск. Весь этот округ находился, как здесь говорят, «под Мальцовыми». Они не только были хозяевами гуты, они воеводствовали в этом крае. Их в свое время жаловали гербами, поместьями, уездами, но дела своего они не оставляли и прадед нынешнего владельца перенес свой хрустальный завод в Радицу, где теперь производится

оконное стекло. В 1790 году секунд-майор Иван Мальцов нашел лучшим устроить большой хрустальный завод в Дядьковичах, или нынешнем Дядькове.

Гута поставлена на берегу богатого водою источника, в который несколько пониже впадают три реки: Ольшанка, Жировка и Белая. Их водою пользуются шлифовальни и другие отделения завода. Кварцевый песок на гуту привозится из Жиздринского и Дмитровского уездов. Поташ доставляется с Нижегородской ярмарки водою до Калуги. Из Белевского и Новгород-Северского уездов привозится глина, необходимая для дойниц – громадных вместилищ, где варится стекло. Прежде ее доставляли сюда даже из Финляндии. Кварцевый песок на фабрику идет теперь свой, потому что нашли достаточно в Жиздринском уезде. Передо мною целые горы этой серебристой, мягкой, сверкающей под солнцем массы. Во Франции кварцевый песок несколько лучше, потому и работать из него легче и дешевле. Около – паровая мельница для кварца, откуда доносится грохот жерновов. Мы входим. В воздухе стоит белая пыль; как и на мучной мельнице, лица, платья, волосы рабочих покрыты ею. По два жернова ребром бегают в каждой форме вокруг ее оси и мелют кварц. Белый налет сел на стены, им дышишь, он заползает в нос, в глаза, в уши.

- Трудно? – обращаюсь я к рабочему, внимательно следящему за бегунками.

- Чего трудно!... Эта работа – легкая. В гуте трудно, потому там на жаре перед печью... А тут ничего.

- Ну, а грудь не болит?

- Чего ей болеть!... Привышна.

Какие железные легкие нужны для этого!

Отсюда кварц поступает вверх, в амбары. Он уже совсем готов для плавки.

Рядом поташ осаждается в чугунных котлах... В воздухе стоит специфический запах. Бледные лица заведующих этим делом кажутся еще более бледными от полумрака, царствующего здесь.

Готовые уже массы материала доставляются к гуте – громадному каменному зданию, внутри которого, под высокою кровлей, где скопится сумрак, топятся и ярко сверкают огневыми зевами своими три колоссальных печи. Подходя ближе, вы замечаете, что каждая из них устроена на двенадцать устьев, т.е. на двенадцать дойниц. В каждой дойнице плавится по двадцать два пуда массы, смешанной с битым хрусталем. Нужно двенадцать часов, чтобы масса сварилась. Из заставленных заслонками устьев вырываются языки красного пламени. Отворили заслонки – и точно сердце сверкнуло нам в глаза. Совсем белый солнечный блеск. Едва намечиваются в этом ослепительном сиянии тоже белые, раскаленные края дойниц, сделанных из английской огнеупорной глины.

- Молочко наше пришли посмотреть? – встретил меня сумрачный рабочий, возившийся у одного из устьев.

Сравнение действительно было верно.

Расплавленное стекло казалось ярким, самосветящимся густым молоком. Рабочий зачерпнул его концом прута. Сумрак, густившийся кругом, разом осветился. На железном пруте белым молочным блеском ярко горел и тянулся длинными нитями ком расплавленной массы...

- Вы завтра приходите, когда работа будет. Тогда у нас интересно, - пригласил нас заведующий гутой крестьянин Хобаров...

Внизу – темные ходы под гуту. Мы спустились туда... Мрачные кирпичные своды озаряются только красным зловещим отблеском дровяных печей, устроенных под стекловарнями. Мы обходили вокруг какими-то жилами, узкими и тесными, точно черви проточили их в этой каменной, прочной, на век сложенной, массе. Температура выше египетской, совсем как в бане на полку, когда услужливый малец швыряет в каменку шайку за шайкой воды и удушливый зеленый пар набегаёт оттуда и клубится под потолком. Вон около одной из печей – сухой торс. Точно натурщик, стоит голый рабочий и преравнодушно смотрит на огонь. Другой рядом в том же костюме невинности

подставил в этой, и без того убийственной, жаре спину к огню, а сам беззаботно чинит себе штаны, не обращая внимания на то, что злобные красные языки пламени дорываются к самому его телу... Оставляя эти печи, опять погружаешься во тьму и прохладу кирпичных жил, где на первых порах даже жутко становится. Так и кажется, что вся эта масса камня сядет и похоронит тебя под собою. Внизу в печах, между дровами, пузырится, вскипает, трескается и взрывается яркими звездами стеклянная лава.

- Как она попала сюда из варниц?

- А бросать не умеют. Мимо дойниц прямо сюда и проскочила сверху.

- Куда же ее?

- Как выгребем, на простые стеклянные заводы, на бутылки, на грубые изделия разные пошлем. У нас ничего не пропадает.

Лава эта играет роль шлаков на железных заводах. Так же, как и они, горит красивым зеленым блеском и также тут не идет в дело... Вернувшись на верх, мы вздохнули с видимым облегчением. Нам показали специальную печь для варки колоритного хрусталя, другие для проковки в высокой температуре уже готового хрусталя – ранее, чем он под тисками примет должную форму. Вон громадная печь с окном, где прокаливаются и выравниваются зеркальные стекла. И все это сегодня было пустынно и безлюдно. Праздник, - работы нет. Только огонь делает свое дело, да стеклянное молоко с глухим шумом и всхлипыванием кипит в дойницах.

На другой день гута была неузнаваема.

Я остановился на ее пороге и долго ориентировался прежде, чем мог дать себе отчет, куда идти, что делать, где смотреть.

Гомон под высокою кровлей гуты; вокруг стекловарниц толпились целые таборы рабочих... Какие-то огненные комья летали в воздухе; на первых порах я даже не различил, что это такое. Дети массами мелькали между взрослыми от печей и к печам; схватывая что-то ярко горячее, они убегали куда-то и опять являлись крикливыми толпами. Что-то спешное, лихорадочное совершалось кругом; слышался, сквозь говор и крики толпы, стук каких-то стеклянных масс, топот сотен ног, клочкотание расплавленной жидкости в дойницах, треск дров снизу... На встречу попадались потные, насупившиеся лица, люди с открытой грудью, изнемогавшие от зноя, - бабы, торопившиеся куда-то и мигом возвращавшиеся назад. Стекловарницы горели всеми своими устьями, слепя глаза солнечным блеском этого светящегося молока. Вокруг стояла адская жара. С непривычки нельзя было и несколько минут простоять на месте. Когда я подошел к одной печи, мимо меня то и дело пробегали к другой, прокальной, дети восьми, десяти лет, неся туда на лопатах уже готовые, но еще горячие красным огнем, точно они сделаны были из отвердевшего пламени, хрустальные блюдца, солонки, пепельницы, раковины, стаканы, лампы и тысячи других предметов, как-то мешавшихся в глазах и в памяти в одну общую массу. Огни, мелькавшие в воздухе, оказались комьями стекла, выхватывавшегося из дойниц на концах железных трубочек. Помахав таким комом в воздухе и заставил его удлиниться, рабочий начинал дуть в трубочку, огненный ком пузырился, внутри образовывалась пустота, все увеличивавшаяся и увеличивавшаяся от притока воздуха... Потом тот же рабочий опускал этот горячий стеклянный пузырь в деревянную форму, продолжая дуть в трубочку, и стекло принимало требуемый вид. Другой в это же самое время обжимал горлышко пузыря, третий обрезал его концы; из формы вынималась бутылка или графин уже готовый, но еще красный, точно как и те вещи, о которых мы сказали выше, состоявший из отвердевшего пламени, разбрасывавший кругом рубиновые искры. Ребятишки толпились уже около. Очередной хватал бутылку и бегом передавать ее в прокаливающую печь. Отсюда она поступала в другую печь, где ее докаливали... Другие рабочие обрезают куски от светящихся комьев, сколько им надо, бросали эти куски в формы, нажимали прессами – и лампадка-пепельница или рюмка были готовы со всеми узорами, тиснениями по мягкому стеклу. При этой работе уже стоят помощники. Когда, положим, блюдечко готово, но еще горит красным блеском, помощник берет

понтий (длинный железный прут) с куском уже охладившегося хрустала и дотрагивается им до доньшка блюда, оно тотчас же приклеивается к хрусталу. Рабочий сует его на конце понтия в печь и прокаливает. Когда оно достаточно прокалилось, рабочий схватывает его и на том же понтиитычет чуть не в нос третьему рабочему, который обравнивает вещь, поправляет ее, если та выгнулась, и потом, стукнув по краю, снимает с хрустала. Готовое блюдо на лопате уносят мальчики опять прокаливаться, но уже в большую калильную печь, откуда также пышет прямо им в лица невыносимым жаром.

Положительно теряешься, следя за всей этой лихорадочной работой, невольно жмурясь от сотен комьев, точно какие-то загадочные метеоры мелькающих в сумраке, оставляя за собою огнистый след.

- Как это вы ухитряетесь не ткнуть кому-нибудь в нос или не обжечь вообще кого-нибудь этими раскаленными кусками стеклянного киселя.

- Приобыкли... Николи этого у нас не бывает, потому по сколько времени при своем мастерстве стоим, не зря его делаем!

Вон один совсем пожелтевший и высохший от жары мастер сидит и ножницами срезывает края дутых стаканов. Выдует их из расплавленного киселя, чиркнет ножницами – и стакан готов. Остается его обровнять деревянной линейкой. Она шипит и горит от прикосновения к стеклу, но оно тем не менее покорно принимает желаемую форму.

- Что, у вас каждый рабочий имеет свое название?

- Да. Который из дойницы берет стекло – *наборщик*; который наливает в форму – *наливщик*, он же и обжимает; который обравнивает да отделяет – *отдельщик*; который берет на хрусталь и на понтий, чтобы прокалить в печи – *гревщик*. Мальчиков и девочек, принимающих стекло, одинаково называем – хлопчиками.

- Ну, а вещи, – например, пресс?

- Это не пресс: это – станок. Это, вот, чем мы обравниваем – липовый лубочек; для развертки стекла или для сжимания шейки и ножки у нас *ножни* идут.

- Ну, а вон тот, что надувает хрусталь, как называется?

- Задельщик.

Наливщик, отдельщик и формовщик составляют одну артель; они получают с сотни, причем распределяют заработок так, чтобы наливщику, которого работа потяжелее, пришлось на 5 коп. больше, чем остальным двум, уже делящимся между собою поровну.

- Сколько же каждый из них зарабатывает в день?

- Когда-то много зарабатывали, а теперь больше рубля – трудно.

Прежде заработок был крупнее, потому что требований на дорогие хрустальные вещи оказывалось больше. Теперь спрос упал до минимума, ибо иностранцы завалили рынки дешевым хрусталем. Прежде в неделю приготавливали на здешних гутах разных вещей тысяч на десять, теперь же не больше как на четыре. Качество французского кварца, например, гораздо лучшее, притом же самая обработка тамошних изделий обходится гораздо дешевле. Таможенные пошлины тоже малы, так что заграничное производство убивает русское.

Сложные вещи работают у другой стекловарницы.

Вон, например, один вынул, взбрасывая вверх на трубочке, стеклянный пузырь, вдвинул его в чашку, придал ему форму графина, обрезал у шейки остатки, приплюснул горло и подхватил на холодный хрусталь. Другой подбежал с жидкою полоской стекла, обернул им вокруг – и вышел рубчик. Наливщик посадил графин шейкой на понтий, выхватил другой кусок жидкого стекла, приклеил его, придал ему желаемую форму – вышли ножки. Пока графин еще горит красным блеском, с ним совершаются другая операция: берется более толстая сосулька, приклеивается одним концом к шейке и выгибается, приклеивается другим концом к низу – и выходит ручка. Все это делается с такою быстротой, что не успеваешь досмотреть толком, как мальчик уже бежит с готовою вещью в калильную печь. Вся хитрость в этом случае, поворачивая вещь во все стороны,

сохранить ее форму и правильность очертаний. На этой работе хорошие мастера могут зарабатывать по два рубля в день каждый.

Только часа через два я мог что-нибудь понять в этой толчее.

Четвертая печь здесь устроена для цветного хрусталя. Его приготавливают, примешивая к составу различные металлические окиси. При мне выделяли тут большую церковную свечу. Выхватили из дойницы громадный, тяжелый ком, вместе с трубкой наливщик забрался на лесенку и там с платформы давай раскачивать в воздухе и выдувать эту массу, принявшую сначала вид большого арбуза, а потом какого-то чудовищного, чуть не строфокамилова яйца. Яйцо это посадили в деревянный цилиндр и давай его разминать, пока оно не приняло должной формы длинного и совершенно правильного цилиндра. Тут зарабатывают много. Хороший мастер до трех рублей в день получит, но для этого требуется много знаний. Особенно, например, при отделке разноцветных свечей, когда приходится накладывать цилиндр на цилиндр разных колеров. Шлифовальщики потом снимут частями слои тут или там и выходит, в конце концов, изящный и красивый разноцветный рисунок.

В общем, вся эта картина гуты, ослепительно горячей устьями всех своих печей, в высшей степени эффектна.

- Эй вы, гутенские воробьи, живо поворачивайтесь! – крикнул управляющий детям, бегавшим у печей.

- Почему вы их так называете?

- Да ведь, ишь, черномазые какие, совсем как наши воробьи, что под крышей живут.

- Где это?

- Да вверху. Воробьи страсть это тепло и дым любят, - ну, и прокопятся в нем. Гутенские воробьи что трубочисты – сплошь в саже. Они у нас и гнезда тут между балками выют.

Действительно, только теперь я обратил внимание на кровлю. Между ее балками сновали целые стаи воробьев. Когда гомон в гуте несколько утихал, оттуда слышалось их веселое и суетливое чириканье. Из труб стеклоvarниц клубился вверх густой черный дым, и они то и дело пролетали через него, - очевидно, это доставляло им особенное удовольствие. Тысячи гнезд лепилось у балок и стен кровли.

- У них и маленькие, только из яйца вылупятся, сейчас же прокопятся.

- Наше дело чистое, оттого и птицы его любят! – философски заметил старый рабочий около.

- Наша работа самая справедливая! – согласились рядом другие.

Где-то ударили в колокол... Зазвонили и около гуты.

Рабочие точно ждали этого, - разслышали сквозь свист пламени в стеклоvarнях, сквозь бульканье и кипение киселя, сквозь грохот паровой машины. На перегонку бросились к выходу. Не прошло и минуты, как гута опустела... Точно в ней никого и не было, только воробьи чирикали под бревнами кровли, да ярко светились печи в сумраке этого громадного кирпичного сарая... Где-то уже далеко, далеко слышался говор разбегающейся толпы.

- Что это, обедать? – спрашивал я у старика, оставшегося со мною.

- Да. Два часа им полагается, а потом опять сюда... Десять часов в сутки работают у нас.

- Тухнут ли когда-нибудь эти печи?

- Нельзя их тушить: каждый раз снова разжигать – дорого будет стоить.

- А во время праздников?

- Завод по неделе не работает, а печи держутся. Закроем их заслонками и шуруем (топим) снизу. Работа наша трудная! – прибавил он немного спустя. – Это, которые думают, что на чугунных заводах труднее, - совсем неправда!

- Утомительна?

- Нет. Тут больше сидят... Вот наливщикам, тем, которые надувают стекло, тем и еще тяжелее. Грудь у них ...

- Значит остальным легче?

- Как сказать?... Теперь около печи сидишь – парит тебя. На холод выскочишь, оймет тебя морозом, - ну и будь доволен!... Другие от жары летом прямо в пруд бегут; окунется и – готов, тащи в больницу. Больница у нас точно ..., а только на нашем деле помереть легче легкого. Теперь, которые шлифовальщики – те грудью слабнут, чахотка сейчас у них.

Ныне нигде и никогда я не встречал у крестьянства легких работ.

#### **V. В шлифовальнях и стеклянном магазине. – Петербургское хамство. – Артисты и бабы. – Баба стеклянная.**

Чем больше я всматривался в это оригинальное царство труда и предприимчивости, тем более я поражен был самыми неожиданными для меня деталями.

Когда немногие, видевшие этот край, рассказывали мне о нем в Петербурге, я получал весьма лестное понятие о богатстве их фантазий. Мне казалось это сказкою из «Тысячи и одной ночи». Теперь на месте я убедился в том, что преувеличений не было, что, напротив, очевидцы рисовали этот уголок с его полутора заводами и со ста тысячами рабочих бледными и тусклыми красками. Всюду видишь здесь ... Ничего для рекламы, ничего казового. Здания бедны и ..., стены из облупились, заборы зачастую рушились, а между тем под их неказистыми кровлями совершаются ... дела, достигаются торжества русской промышленности... Изделия, вышедшие из этих мастерских, получают высшие премии на выставках у многочисленных английских и французских конкурентов, на миллионы расходятся по России и если не дают громадного благосостояния – массе народа, то это потому, что по экономическим и таможенным условиям иностранные предложения плохих зачастую, но более дешевых, машин забивают здешние. Мы считали до сих пор невозможным выделку стальных железнодорожных бандажей в этой местности России и встретили их тут доведенными до совершенства. До сих пор только Обуховский и Сормовской заводы занимались этим производством. Локомотивы мы покупаем за границу, по наивному признанию одного инженера, потому, что здешние выдерживают двойной срок ремонта и потому невыгодны для техников. В одно время со мною здесь оказался бывший адъютант министра путей сообщения Бобринского, генерал 3-ь. он вернулся из Людинова с недоумением.

- Вы знаете, что я видел здесь, совсем перевернуло мои понятия.

- Почему?

- Это пощечина для меня, но я ей радуюсь. Это торжество русской промышленности, а я сам когда-то делал доклады о невозможности развить у нас все, что теперь въявь возникло передо мною. Я еще не могу освоиться с впечатлениями. Кругом совершается грандиозное дело, которое будет оценено только впоследствии.

- Если до тех пор мы его не зарежем, заботясь более об иностранных производствах.

- Я никогда не мог думать, чтобы железо в России вырабатывалось до такое крепости. Вы знаете, в Людинове мне дали английский напильник и я попробовал им местное железо.

- И что-жь?

- Напильник стерся, а железо цело. Это изящество машин, эта масса их, это богатство моделей и усовершенствований, придуманных на самом заводе, ошеломляет меня.

В Дядькове вместе со мной был французский техник, сам хозяин большого хрустального завода, Гюитьер. Он с недоумением останавливался перед здешним хрусталем и стеклом.

- Вы знаете, у нас кварц лучше. Но я не могу понять, как здесь умеют выработать такие превосходные изделия!

Съездив в Ивот и Стекланную Радицу, он высказался еще определеннее.

- Здесь учить нечему. Здесь нужно учиться.

Старые заводы, облупившиеся стены; нигде нет дворцов промышленности, поражающих вас своей роскошью и колоссальностью затрат. Только одно крайне необходимое. И еще более, что подкупает вас здесь, вы видите, что тут думают о народе, заботятся о нем.

- Отчего вы не закроете такое-то производство, ведь спроса нет?

- Нет.

- Невыгодно значит?

- А куда я дену три тысячи людей, которые выросли на этом, которые сжились с этим?

Все это создано в пятьдесят лет одной жизни. Какая энергия и предприимчивость! Невольно удивляешься такой беспримерной у нас деятельности. И совершалась-то она совсем не при легких условиях. История телеграфа повторялась во всем. Везде тормозили дело всеми средствами, находившимися в распоряжении у власти. На Мальцова смотрели то как на социалиста, то как на фантазера, то как на самодура. И всего комичнее, зачастую смешивали все эти три эпитета. Ему не верили. У него были и есть сильные враги – вся эта партия шаркунов и низкопоклонников, все эти титулованные дармоеды, для которых совсем непонятно самоотвержение человека, уходящего в далекую деревню, в народ, работающего с ним, в то самое время, когда он мог бы бросить свои миллионы на хамство, разврат, оргии, на безумные затеи до мозга костей развратившихся прохвостов. Разумеется, у него есть свои недостатки, - не ошибается только тот, кто не работает, - но не на них опираются ливрейные халуи, мнящие себя антагонистами этого дела. Совсем не на них. Чего я не наслушался ранее своей поездки сюда!..

- Вы увидите там целый гарем.

И вместо гарема оказалась простая, почти монастырская жизнь, суровый труд с утра до ночи, ненависть к роскоши.

- Помилуйте, это эксплуататор! – кричали другие.

Оказывается, эксплуататор в голодные годы кормит народ, платит за него подати, поддерживает невыгодные производства, чтобы людям было чем кормиться, схватывается за всякое новое дело ради прогресса производительности, зная, что оно не принесет ему никакой выгоды. Личный свой доход отдает тому же делу, живет его жизнью, и до такой степени вошел в его интересы, что иных и не понимает. Этот эксплуататор болит сердцем за Россию. Это какая-то лаборатория идей и проектов, никогда не прекращающая своей деятельности, - паровик, пятьдесят лет находящийся в состоянии кипения, - человек, бросивший придворную карьеру, блеск, спокойствие, и все ради того, чтобы поднять благосостояние так или иначе, доставшегося ему уголка. В нем много кажется странным, многое необъяснимым, почему он делает так, а не иначе; но это – не самодурство, на которое ссылаются эти господа, а просто человеку некогда тратиться на всевозможные мотивировки и экспликации.

- Или говорить, или дело делать – одно из двух.

И с этим, разумеется, нельзя не согласиться.

В одной из следующих глав постараемся дать характеристику этой личности, теперь же позволю себе сказать, что во время долгих своих странствий по России я видел только еще одного такого же организатора, хотя тот стоял на противоположном полюсе, принадлежал к совсем иному миру.

Я говорю об отце Дамаскине, ныне уже успокоившемся под тенистыми кедрами Валаама.

Отец Дамаскин создал громадный Валаам, Мальцов создал эту Америку в России.

Но первый работал на святых отец наших Германа и Сергия, а второй – на народ. Первый все средства считал годными и вполне освященными тою целью, к которой они способствовали. Первый преклонялся перед наукою и образованием, но сам был невежествен; второй получил солидное воспитание и научился всему настолько, что ему даже европейские ученые отдавали полную справедливость. Первый был только хозяином, второй является и гуманистом. Оба не знали препятствий на своем пути и ломали их, оба были чужды сентиментальности и заигрывания с общественным мнением; но когда первый, как монах, молчал перед властью или хитрил с нею, второй договорился и дообличался до полицейского надзора, существовавшего над ним в течение долгого времени.

Что такое другие наши заводские районы? – Рассадники нищеты и центры пьянства и разврата прежде всего.

Приезжайте сюда, вы не встретите ни одного нищего, а пьяные разве-разве в Людинове попадутся вам, да и то редко. Тут есть семья, известная строгость нравов, народ грамотен и энергичен. Это не вырождающееся поколение, каким является население окрестностей, это – люди сильные и сытые. И все это создано своими средствами, без обращения к иноземцам. Тут их не приглашали учить и володеть.

Уголок этот – оазис, в котором бы не мешало поучиться уму-разуму многим. Приезжайте сюда и проверьте мои впечатления. Я могу ошибаться, и очень часто, в мелочах и деталях, но общее верно.

Надеюсь, читатели не посетуют на меня за это отступление.

Перед нами еще целый ряд дядьковскихшлифовален и стеклянные магазины, не осмотрев которых нам нельзя выбраться отсюда... Вместе с управляющим гутою я вошел в первую шлифовальню.

На минуту я был оглушен.

Визг медных и стальных пил, звук стекла, журчание воды, льющейся точно из тысячи источников, грохот каких-то колес, пыхтение машин и шорох неустанно работающих ременных приводов вверху. В воздухе стоит какая-то пыль; длинные ряды сидящих у станков рабочих пропадают где-то далеко, далеко. Над самым ухом звенит хрусталь, точно жалуется на острую сталь, въедающуюся в его прозрачную массу... Голосов не слышно. К механическим звукам не примешивается ни смеха, ни песен. Люди кажутся неподвижными, как и самые табуреты, на которых сидят они. Безмолвие на первых порах производит даже странное несколько впечатление после шума и говора гуты. Около меня за маленьким станком сгорбился старик в очках и, подставляя под зубчатое стальное колесо только-что доставленный стакан, выводит на нем узоры. Хрусталь скрипит и стонет, колесо живо проводит на нем матовые полосы, в то время как сверху падает на него вода, облегчающая работу колеса.

- Плачет, больно ему! – добродушно повернулся к нам рабочий, откладывая в сторону готовое уже стекло. – Ступай отдыхай, да вымойся!

- Кому больно?

- А стакану. Ишь как пила в него въелась!

Взял другой стакан и опять сжал губы. Опять нельзя сказать слова, потому что внимание при этом деле требуется самое напряженное. Чуть зазевался, узор не вышел и стакан – в лом тогда. Таких, как этот старик, целые ряды сидят. Все серьезные мастера; они и рабочими себя не считают.

- Мы артисты! – поясняет один. – Наше дело – рисунок, тут вкус нужен. Это – не ремесло.

- А что же? – переспросил я, изумленный способом выражения его.

- Искусство! Мы это по образцам делаем пока, а мне случалось и по своей фантазии. Знаете, так, как найдет...

- И выходит что-нибудь?

- Какже! Я и птичку могу на стакане. Крылья распустила и летит, а под ней цветочек распустился, и бабочка на цветочке с лету держится... Какже не искусство, помилуйте! Мы природе подражаем. Возьмите теперь хоть бы пальмовый лист. Отродясь я его не видал, а на стекле делаю. Лавры тоже. Либо собаку: лапу подняла и стоит. «Пиль» ждет!

Но эта работа исключительная. Обыкновенно делают по образцам сотнями. Есть узоры любимые, предпочтительно ценимые покупателями, на которые «они идут» точно рыба на наживку. Между «артистами» этого рода есть очень молодые, даже мальчишки. Тут нужна верность глаза и некоторое прирожденное изящество. Уже готовые стаканы идут бабам, которые их моют, вытирают и укладывают для отсылки в складочные магазины. Бабы, поддаваясь общему настроению, тоже молча исполняют свою работу.

- Что же вы зарабатываете в день? – обратился я к старику в очках.

- Разно. Мы задельно получаем. Когда семьдесят пять копеек, когда рубль. стакан стакану рознь. За один копейка идет, а за другой и все пять.

Есть зарабатывающие в месяц по 25-30 рублей, если дело идет без прогулов; новички или манкирующие своими обязанностями – по 18; «артисты», хорошо знающие свое дело и навывшие, получают и все 35 или 40 рублей. Это уже некоторым образом аристократия заводского труда. Тут они в серых армяках щеголяют, а в праздник непременно в черном сюртуке, каком-нибудь невозможно-ярком галстуке с отчаянными разводами и непременно в ярких резиновых галошах, хотя бы на небе не было ни облачка, а земля оказывалась сухой как камень. Лучшие из «артистов», - оставляю за ними это претенциозное название, - получают работу, требующую большого внимания и осторожности, из дорого стоящего материала. Церковные, например, хрустальные свечи, состоящие из нескольких слоев разноцветных, наложенных цилиндрами один на другой, оплачиваются особо. Тут нужно шлифовальными камнями и пилами снимать один слой по одному рисунку, другой по-другому и самое дело требует большого навыка, потому вещь дорогая, а на одну линию промахнешься и все испорчено. За такую свечей «артист» просидит двое суток и получит три рубля. Тут заработок доходит иногда до 45 рублей в месяц.

- Эта работа трудная! – поясняет шлифовальщик с седою как лунь бородой и совсем босым черепом. – На ней сильно налягнуть надо. Хрусталь толстый, разом-то не поддается. Ты еще попотей над ним, тогда он тебя послушает. И плачется же под инструментом, - так плачется, так плачется, точно живой!

Паровая машина, приводящая в движение все эти станки, пилы, ремни, жолоба, всю эту воду, льющуюся сверху, пытит все громче и громче, инструменты визжат все пронзительнее и пронзительнее, ремни вверху точно предупреждают зловещим шорохом своим неосторожных путников не идти далее; по мере того, как мы подходим к шлифовальне, где работают колеса из камней твердой породы. Тут стекло орет во-всю. Камни эти, быстро вращаемые ремнями, стирают с него целые полосы, делают грани. Потом, чтоб эти грани не оставались матовыми, с ними тоже возня не малая: нужно их сгладить и отполировать ручною деревянною линейкой. При каждом мастере баба. Мастер передает ей готовые стаканы или другую какую-нибудь вещь. Баба чистит ее, малярует, полирует, вообще – отделяет. Каждый мастер является с своей работницей и уже платит ей он. В то время, как мастер-шлифовальщик в этом отделении получает в день 90 коп. и в месяц может заработать от 20 до 26 руб. его адъютантша получит от 4 до 9 рублей в месяц. Плата эта для женщины не считается здесь особенно низкою, тем более, что женатые мастера являются сюда с своими женами.

- У нас здесь поэтому как в Ноевом ковчеге! – замечает, улыбаясь, один артист.

- То-есть?

- А все парами. Так парами приходим, парами и уходим.

Между шлифовальщицами есть очень красивые типы. Раскормленные, сильные женщины совсем не походят на тех выродившихся, истощенных и чахлах баб с мяканным

брюхом и выражением какой-то тупой покорности в лице, которых приходилось встречать в деревнях Смоленской и Калужской губерний, где голодовки и безработица истощили население до последней возможности.

Вон, например, прехорошенькая девушка с глубокими голубыми глазами и целой массой темных волос на голове. Она сидит за станком и держит стакан под пилой. Она тоже работает с мастером суровым и необщительным, помещающимся тут же. Делают одну и ту же работу оба.

- Что-же, они по-ровну делятся?

- Как возможно!.. Он берет себе двадцать, а ей пять рублей в месяц.

- Почему же так?

- Она не может ни колеса поставить, ни узора вырезать без него.

Полируют, выходящие из-под станка шершавыми, грани деревянными колесами, приводимыми в движение тою же паровою машиной и теми же ременными приводами. Тут уже исключительно работают бабы. Ни особого умения, ни силы для этого не надо. Из-под деревянного колеса грань выходит чистою и прозрачною. Дно у стаканов шлифуется особо. За этим делом работают пять мастеров и пятнадцать баб.

Еще один этаж, где почти исключительно работают женщины.

- Тут все девицы... При них малость мастеров.

Девицы весьма неказистые, - настолько неказистые, что роль прекрасного Иосифа с ними вовсе не представляется особенно затруднительною.

- Я думал, строгость нравов здесь, как и на всех фабриках, не особенная.

- Ну, это как... Эти себя соблюдают. Они, знаете, имеют своих душеньек, потом и замуж на них выходят, а так, чтобы в роде разменной монеты во все руки, - не случается. Наша баба с умом. Она шалит - шалит... Играется, - отчего ей не поиграть? - а только с оглядкой. Тоже и родители у нас не как у других.

- А что?

- Крепко в руках держат. Много воли не дают.

- Ну, вот, например, мастера, которые с женщинами работают, неужто только одними встречами здесь ограничиваются?

- Мастеру дать себе волю никак невозможно. Потому наша баба привязчивая, она его сейчас в руки заберет и ничего ты с нею, с нашей бабой, не поделаешь. И женит на себе!.. А впрочем мы в ихние дела не входим. Мы только здесь надзираем, а что после работы, нам дела нет.

- Еще бы!..

- Теперь пожалуйста в нам в матовню.

Матовней оказалось отделение, где наводят на хрусталь мат. Грохот здесь страшный; он просто глушит; не слышишь соседа; видишь только, как он только разевает рот. Какие-то невидимые колеса грохочут, что-то визжит у самого уха, где-то громяют какие-то рычаги. Голова идет кругом.

Матовня - ящик. Туда бросают петухов, мальчиков с сложенными для молитвы руками и подогнутыми коленями, баранов, амуров, голубей, сидящих на яйцах, и таковых же без яиц, саркофаги, внутри которых должно покоиться не тело какого-нибудь знаменитого иностранца, а сливочное масло. Все эти произведения искусства поступают в матовню прозрачными как стекло, а выходят оттуда матовыми. Сильные струи песку бьют в ящик со всех сторон, при помощи паровой машины, с таким визгом и грохотом, что светлые амурсы, пустота которых видна насквозь самому непроницательному человеку, от ужаса покрываются матом. Молящиеся мальчики, бараны и петухи тоже теряют свою девственную прозрачность. Если надо навести мат на одну какую-нибудь полосу или одно место, то вещь вставляется в железный футляр, оставляя это место открытым. Есть матовня, куда вставляют приговоренного к избивению песком младенца. Пока крышка открыта, младенец невредим; но как только крышка опускается, механизм, вместе с движением ее петель, начинает действовать и сильная струя песку бьет вверх так, что

самая незапятнанная совесть не выдержала бы и потеряла бы под нею немедленно свой блеск и чистоту.

Отдельный корпус занят работами «на кругах», подтачивающих дна и края стаканов. Тут работают уже женщины. Им достается рублей по семи или восьми в месяц. Всех их в этом отделении девяносто пять. Им полагается десять мастеров мужчин.

Осмотрев гуту и шлифовальни, мы, наконец, выбрались на воздух.

Позади гремели станки, визжали колеса, слышался шум паровой машины, за то перед нами была тишина яркого дня. Весна вступила в свои права, снег уже стоял с солнцепеков, ранние птицы возились в ветвях берез, на которых уже показались красные, словно налившиеся кровью, почки. Бодрящим теплом веяло с юга. Направо на холме белая церковь была сплошь облита солнечными лучами. Где-то далеко, далеко пели петухи, эти неустанные фальцеты русской деревни. В стороне глухо падала вода из-под колес какого-то завода над прудом. Чистое небо расстилалось над нами, напоминая свою синеву близкую отсюда Малороссию.

- Однако успокаиваться на лаврах нечего!

- А что?

- Да ведь мы еще стеклянного магазина не видели.

- Пойдемте.

Магазин тут же не далеко. Он занимает большой двухэтажный дом из красного кирпича. Внизу кладовая, где работают девочки, завертывающие посуду в солому. Принимает ее у них взрослый рабочий, укладывающий в бочки для отправки все стекло, выработанное здесь. Этих бочек было без числа. Они загромождали всю кладовую. Маленькие работницы делали свое дело с удивительно-серьезным видом, хотя плутовские яркие глаза то и дело забегали за окна, где светило солнце и таял последний снег.

- Что они получают?

- О, им платят недурно. От трех до пяти рублей могут добыть в месяц. Они у нас совсем самостоятельны.

Для детей это самая подходящая работа, не утомительная, не сложная; воздуха и простора здесь вдоволь и вид поэтому у них очень здоровый. Я вспомнил встреченных на других заводах подростков, изголодавших, плохо-одетых, босых. Какое же сравнение с этим!

На больших столах посуда ревизовалась. Малейшая царапина или пузырек в стекле – и вещь шла в брак, который, смотря по тому, каков он, или идет опять в дойницы стекловаренных печей, или сбывается за бесценок. Брак этот мог быть определен только опытным осмотром специалиста. Мы смотрели внимательно и ничего найти не могли. На верху более изящные вещи и дорогие. Бывший со мною француз, техник Гюитьер, пришел в восторг от них и не хотел верить, что некоторые сделаны в России.

- Какая чистота хрустала, какое изящество! – повторял он.

Старик Хабаров, управитель гуты, чуть не рос на моих глазах от этих похвал, когда я ему переводил их.

Тут кстати будет привести в заключение несколько цифр: на Дядьковской хрустальной гуте работает постоянно 1.435 человек, временно-«вспомогательных» приходит 1500 ч. Первые из них получают в год 162.778 руб., вырабатывая сырых материалов 165.187 пуд., на 119.708 руб., из которых выходит изделий 8.252.275 штук, на 600.000 руб. При этом сжигается дров около 5.000 квадр. Саж., на 32.500 руб.

## **VI. Поездка в Ивот.**

В 13 верстах от Дядькова стоит деревня Ивот с большою фабрикой оконных стекол, на которой работает 430 постоянных и более шестисот временных рабочих. Администрация Мальцовского товарищества уплачивает им ежегодно 70.000 руб., причем общий оборот фабрики определяется в 250.000 руб. В Ивот ведет прекрасно содержимое шоссе. Мы поехали туда, когда первая зелень уж поднялась в полях, почки деревьев

раскрылись и нежная молодая листва еще только расплавлялась в весеннем теплом воздухе. Зяблики и щеглы возились в ветвях. Ранний соловей запел было, но разом оборвался, - еще не было сумрака и тени для этого застенчивого поэта. За то неведомо из каких деревень, верно прятавшихся в лесу или притаившихся в ложине, весь путь нас преследовало нахальное оранье петухов, по-своему праздновавших тепло и свет запоздавшей на этот раз весны.

- Как хорошо! – невольно повторяем мы, прислушиваясь к мягкому, детскому лепету нежной листвы, к печальным посвистываниям иволги и рокоту ключей, упрямо державшихся подальше от солнца, в лесной глуши и тени. Вот под темною стеной соснового старого бора с корявыми, словно что-то нахмурившимися, стволами и далеко вверх раскидывавшимися верхушками сверкнули спокойные воды какого-то озера, тихие, сонные. Казалось, они боялись дрогнуть, чтобы не возмутить отразившего в их глубине голубого, чистого неба. Только изредка, когда шаловливая рыбка, поднявшись поближе к свету, схватывала мошку и, плеснув хвостом, уходила вниз, по этому зеркалу бежали морщинки, серебрясь на солнце. И оранье петухов, и грохот нашего экипажа по твердому грунту шоссе, и топот копыт застоявшихся накануне лошадей – покрывала изредка праздничный гул колоколов невидимых церквей. Густые, тягучие звуки благовеста разносились среди этого покойного царства лесного, точно расплываясь между его молчаливыми великанами. Вот вдаль блеснул ряд каменных и деревянных домов довольно красивого и чистого села.

С нами был С.И. Мальцов. Каждый раз он в поездки берет мешки с пряниками, обделяя ими детей, со всех сторон сбегających к нему на встречу с криками: «дедушка, ура!» Мальцов куда-то вышел из экипажа, детвора сбегалась и остановилась в ожидании его.

- Эх, вы, ребятенки, ребятенки! – заговорил с ними кучер, который никак не может определить, кого он любит больше – ребят или коней.

Дети сейчас запустили лапы в рот и подошли ближе.

- А что, дедушка сегодня на ура много кидал?

- Много.

- Пряников, значит у него много запасено?

- Да, целый мешок. Ишь, вон, в экипаже мешок стоит.

Мальчики, косясь на меня и на бывшего с нами барона Рейхеля, заглядывают внутрь.

- Васька, гли, мешок-от!

- Он самый. Ишь, какой!

- Бела-ай!

- А что, Васька, сколько а ём, в мешке этом самом, будет?

- Поди, двадцать.

- Эх, ты! Я так думаю, ста три, а?

- Может и ста три, - беспрекословно согласился Васька.

- А можно ли съесть ста три?

- Я бы съел.

- Ловкай!.. Так бы тебе и дали одному.

- Отчего, ежели бы да мои были?

- Откель это?

- А мамка бы напекла. Сичас бы я с ними в лес и ну есть.

- Один бы и поволок?

- Нет, я бы Кузьку да Семку взял, чтобы сторожили.

- Сторожить бы зачем?

- А вы бы у меня отняли. Я вас знаю, какие вы.

- А вот бы и не отняли.

- Ан, отняли. А Семка бы вас за волосы.

- Мы тебя сами...

Неизвестно, к чему бы привели эти дипломатические переговоры, если бы вдали не показался Мальцов.

- Дедушка, ура! Сергей Иванович, ура! – подкатились они ему под ноги.

- Ура, дедушка!

- Уля! – бежал со всех ног сзади, зажмурясь и расставил толстые ручонки, какой-то бутуз, очевидно без всякой веры в возможность получения пряника, а так, для исполнения необходимо, по его мнению, обряда.

Бабы – те пуще детей на пряники бросаются, опрометью, стремглав. Раскраснеются ярче кумача. Кажется, вот-вот под колеса сейчас.

- Вы-то чего, ведь большие! – унимают их.

- Ишь ты... большие... Сладкого-то и нам ходца... Большие! У меня вон ребятенки дома, - я им несую.

- Врет Матреха, сама съест! – обличают ее другие.

- И сама съем!.. Все одно.

По обе стороны лес пошел удивительный. Кажется, у самых заводов едем, а леса целы. Как это ухитрились здесь сохранить их! Именно тут-то, в крае, где горячка лесоистребления и до сих пор еще продолжается с таким ожесточением, с каким едва ли верные католики уничтожали гугенотов в Варфоломеевскую ночь. Варфоломеевская ночь русского леса, кажется, дотянется до тех пор, пока уже ничего будет рубить. Знаменитые около Брыни брынские леса изведены совсем. На месте их пустыри да чахлые, жалкие нивы стоят. Тем более чести этому краю, сумевшему вести свое заводское дело так, что все эти зеленые пустыни и до сих пор манят вас в свою свежую глушь.

- Прежде у меня было тут 10.000 мачтовых деревень. Сокровище! Шапка валилась, когда бывало посмотришь на них, - говорит Мальцов.

- Куда же они делись?

- Долго я держался, - думал, что для черноморского флота понадобятся. Штиглиц приезжал, миллионы давал за них, - не отдал. Хотел России послужить, а тут, после Севастопольской кампании, флоту конец пришел. Что было делать? Портиться уж стали наконец, внизу загнивали, я и срубил их.

- Сколько лет эти заводы стоят у вас?

- Стеклянные сто лет.

- Как же удалось вам леса сберечь?

- Очень просто: мы рубили с толком. Пока одно рубили, другое выросло. И на стороне покупали топливо для заводов, чтобы своего не тратить.

Вообще, во всем и везде видна опытная и твердая хозяйская рука. Несмотря на то, что к Ивоту и дальше строится железная дорога, шоссе продолжают поддерживать гравием или фосфатом. Проезжавшие здесь в распутицу весною не нахвалятся дорогой. Интересно, в каком бы виде была она в казенном управлении... Во всем и везде видны оригинальные усовершенствования. Телега встретится: присмотритесь к ней и – заметите, что колеса ее особого устройства. Деготь заливается раз в неделю и снять их нельзя, так как они сделаны нераздельно от своих осей.

- У нас все так! – гудит бас рабочего Слюосарева, взятого вместе с нами в Ивот.

- Что все?

- У нас все по-особому. Сколько мы это действовали...

Точно из пустой бочки несутся звуки из этого замечательного горла. Слюосарев не только рабочий, он и певчий – первая здешняя октава. Слюосарев гордится этим гораздо больше, чем какой-нибудь сен-домингский генерал своим петушиным мундиром.

- У меня голос был прежде, - басит он. – Сам архиерей удивился. Этакое, говорит, баса – невозможно.

- У твоего сына, говорят, хороший голос.

- Да... Ну, да что!.. У нынешних какие голоса. У них это так, баловство одно.

- Однако.

- Ну-ка, пусть он «и всемогущу» возьмет. Нужно как, чтобы стекло какое около – в дребезги. А нынешние этого не могут. Помилуйте, и архиерей говорит: «у тебя, Слюосорев, невозможно».

Опять лес, опять молчание. Точно эти безмолвные сосны навевают на душу какое-то особенное благоговение. Словно между колоннами церкви стоишь среди этих деревьев.

- Скоту плохо! – слышится в стороне бас Слюосарева, низводящий вас из «храма» прямо в будничную остановку.

- А что? – спрашивает Мальцов.

- Очень плохо... и даже совсем невозможно.

- Да, знаю, знаю. Громадный запас был, а весь вышел. Помогали крестьянам, - теперь сами остались на бобах. Поздняя весна.

- Ржавую солому, которая...

- Ну?

- Опаришь кипятком – есть... Скоту-то есть дают... жмачку тоже.

Жмачка – выжимки из конопли во время выделки масла.

- Жмачку в голодные годы и люди ели.

- Хорошо! – басит рабочий.

- Что хорошо?

- Очинно даже прекрасно... жмачка эта самая... В сороковом году мы ее с мукой мешали... Рубль цена тогда хлебу была.

- Нынче хуже, - до рубля семидесяти доехало.

- Да, это точно... Произволение.

Леса прошли немного в сторону. Вон громадный Ивотский завод, закопченный, весь в балочных переборах. Внутри ряды стекловаренных печей, в устьях светится стеклянный кисель. Снизу слышится треск дров. В гуте никого нет. Сегодня праздник и народ весь отдыхает. Газ, проведенный от дровяных печей снизу в сварочные печи, горит в них белым огнем. Пол весь усыпан осколками стекла. Вон какой-то парень босиком бежит через пустую гуту. Какую кожу нужно иметь на ногах, чтобы выдержать это!

- Чего это он, босиком?

- Это не наш... Пришел работы просить, - ну, мы его и взяли. Пуцай кормится.

Стекло, устлавшее пол, поблескивает от скудных солнечных лучей, едва-едва проникающих сюда сквозь балки кровли. В их сумраке затеяли возню воробьи.

- Ишь, подлые! – злится на них Слюосарев.

- А тебе что?

- Помилуйте, - гудит он, - беспорядки!

Ивотская фабрика оконных стекол основана семьдесят пять лет тому назад, в Чернятенской даче, на речке Ивоте.

В течение этого времени дело здесь так расширилось, что, например, еще в 1865 году здесь работало только 80 человек, а теперь их всех, считая с вспомогательными рабочими, около тысячи. Каждый из мастеров в течение двенадцати часов работы выдувалось из жидкого стекла до 100 цилиндров или, как здесь говорят, холяв. Эти цилиндры помещаются в печь для прокаливания. Прокалив, цилиндр разрезают и переносят в распускную печь, в которой от нагревания он разворачивается и обращается в лист. Потом его для постепенного охлаждения переводят в другие печи.

Не успели мы еще пройти гуту, как со всех сторон сбежался народ.

Началась своеобразная беседа.

- Хлеба мало... Совсем извелись... Ни самим, ни скоту.

- Это, братцы, уж сделано. Хлеб вам выдадут. Да как это можно, чтоб у своих хлеба не было!

- Это не свои, - вмешался управляющий.

- А какие же?

- Со всех сторон народ валом валит. Везде закрываются фабрики или уменьшается производство.

- Да как же я за чужие грехи должен платиться? У меня своих рабочих сто тысяч, а тоже дело плохо, нет заказов. Нужно уменьшить и сократить дело. Что же с вами-то мне?

- Будьте благодетелем. Вам Господь...

- Да ведь, братцы, ну с чужих фабрик еще тысяч несколько распустят и все ко мне придут? Тогда ведь у меня и для своих не хватит.

Началось моление о хлебе.

- Что тут делать? Вижу сам, нужда настоящая. Люди не милостыню, а работы просят.

- Деток жалко... Детки не емши, - всхлипывает чей-то голос.

- Ну, братцы, ладно. Как-нибудь до нового хлеба продержимся. Так я вас не оставляю. Общая тягота. Друг за друга, а Бог за всех... Что делать, ребята, чужие отбивают у нас все заработки!..

- Пока ты с нами – не помрешь!

- Ну, ладно, ладно.

В Ивоте прекрасная церковь. Окна и во всех церквях иконостасы здесь из дядьковского хрустала. Они чрезвычайно эффектны, а в Ивотской церкви престол устроен из такого же стекла с украшениями, и резьба почти художественна. Все пошли в церковь; я зашел туда тоже. По селу не видать пьяных; в церкви стоял народ чисто одетый, не мало было и черных суконных сюртуков. Заработки в Ивоте несколько меньше, чем в Дядькове. Чернорабочий получает здесь до 15 рублей в месяц, а на хозяйских харчах – 10; выдувальщик-мастер – от 25 до 40 руб., смотря по тому, сколько стекол он сделает. Мастера такого рода все на своем содержании. Подростки зарабатывают от 3 до 5 рублей. Поденная плата случайным рабочим рассчитывается от 35 до 65 коп. на своих харчах. Варщики, разгибальщики, резчики и прокатывальщики – от 20 до 25 р. Женщины (большая странность) зарабатывают здесь наравне с мужчинами – от 25 до 30 руб. Самый последний разряд чернорабочих на конторском содержании получает каждый по 6 руб. в месяц.

- Просто не знаем, что делать с рабочими, - задумывается управляющий.

- А что?

- Да видели сами, какая толпа привалила! Из Могилевской губернии приходят: и там работы остановились, заводы закрыты! И наши оскудели тоже за последнее время. Очень уж дележи их разорили. Пока старики жили – и семьи держались. А теперь до чего дошло, можете себе представить: в одной хате приходится служить четыре молебна, потому что четыре семьи здесь и каждая знать не хочет другую. Бог знает, до чего дошло! А тут еще хлеба мало. Можно бы коней выгнать на работу, да от безкормицы они так ослабели, что по крайней мере недели три пройдет прежде, чем они будут куда-нибудь годны. Все молодые побеги ельника пообъели, кору жуют!

Коней этих я видел здесь: с ног валяются; шерсть клочьями; где как войлок сбилась, где совсем со шкуры слезла; чуть-чуть переступают нога за ногу. За то обстроено это село чудесно. Большие избы, между ними много каменных домов, выстроенных наиболее выделившимися своею исправностью рабочими. Им хозяин подарил кирпич на стройку, а другим лес на избы. И какой лес пошел на это дело – крупный, целый!.. На улицах – бабы в ярких костюмах и платочках и парни, довольно прилично одетые. Встречаются в лаптях и оборванные: это – пришлые, ищущие куда бы приютиться, где бы найти работу.

- Что тут делать?! – раздумывают здесь. – Ведь не милостыни просят, а навалило тысяч сорок народу и одного только хотят – работы. А работы нет. Нужно что-нибудь придумать для них.

- Ко мне милости просим! – обратился к нам молодой священник интеллигентной наружности. – На новоселье.

Новенький домик его совсем с иголочки, уютный, красивый. Внутри сосной пахнет. Нигде пылинки нет. Чистенькие коврики, приличная мебель, пианино, гардины на окнах, довольно ценная лампа, какие-то книги в углу, на столах шитые шелком салфетки. Выглянула-было молоденькая красавица-жена и спряталась опять. Она была тоже в здешнем мундире-сарафане, хотя из довольно дорогой материи.

- Вы ее простите. Она у меня степнячка. Застенчивая еще.

Упросили ее выйти. Совсем растерялась, покраснела как маков цветок. Вошли двое больших гимназистов-классиков.

- Ваши родственники? – спрашиваю у священника.

- Нет. Это сыновья здешнего крестьянина, управляющего гутой.

Все управляющие заводами – из крестьян. Они выросли на глазах; других сюда не берут вовсе. Дети их уже учатся в университетах и гимназиях. Каждый из отцов здесь старается дать им как можно более образования. Дочери тоже учатся в городах в женских гимназиях или пансионатах, так что лет через десять в эту, пока еще темную, русскую Америку войдут массы свежего, развитого и умного молодого народа, который, разумеется, сумеет придать краю более привлекательности и силы. Даже простые рабочие – и те охотно посылают своих детей в школы. Разумеется, встречаются и другие примеры. Раз является, например, к одному из управляющих мальчишка.

- Чего тебе?

- В школу хочу.

- Чудесно. Ну, ходи, - я скажу.

- А сколько вы мне положите?

- Как это, сколько?

- Поденно, либо в месяц.

Управляющий расхохотался.

- Пожалуй, кормить тебя будем.

- Из-за харчей одних учиться не стану!

С тем и пошел себе обратно.

На другой день, когда начались работы в гуте, я отправился туда. Пришлось попасть в амбар; там все было заставлено цилиндрами бемского стекла. Некоторые были выше сажени, встречались и более. При каждом нашем шаге эти цилиндры вздрагивали и звенели, точно по ним пробежал легкий ветер, будя какие-то необычайно приятные звуки. Для развертки этих стекол тоже придумано особое приспособление. Громадная круглая печь, в которой движется большой круг при помощи скрытого механизма. Громадный цилиндр бемского стекла, предварительно накалившийся, разрезают и кладут плашмя на движущийся круг в одно устье печи. Круг, вращаясь, медленно продвигает его к другому устью. В это время от жару цилиндр разворачивается и образует лист, но еще коробящийся, неровный. Тогда особенным инструментом (мягким бруском, приделанным к длинной ручке) мужик разглаживает его в печке же. Из под бруска сыплются красные и золотые искры; стекло шипит, точно злится на операцию, которой его подвергнули. Когда оно окончательно распрямится, его или оставляют целыми, или разрезают на части.

Кучи детей путаются под ногами, есть и неработающие, - благо в гуте просторно и весело. Что воробьи на верху между балками крыши, то и они внизу. Замечательно красивые бабы тут же около своих мужей, некоторые даже с грудными малютками на руках. Все это придает гуте совсем особый отпечаток – чего-то семейного, ничего не имеющего общего с фабрикой и заводом.

- Что значит гута?

- От немецкого Hut – стеклянный завод.

Так это и осталось. Так и крестьяне зовут свои фабрики. Когда мы возвращались назад, под теплым дождем, шедшим накануне, пышно распутившаяся зелень слегка колыхалась от теплого южного ветра. Иволги пересвистывались в лесах, задорно пели

синицы. Дивные сосновые боры опять обступали нас отовсюду, точно хотели захватить в свое сплошное, тихое, заколдованное царство.

Вечером смелее соловей пел свою задумчивую песню; откуда-то издалека доносился красивый и звучный женский голос.

## VII. Знеберь

Знеберь – царство бутылок. Если вы спросите крестьянина отсюда, чем он живет:

- Мы бутылкой живем! – ответит он вам. – Нам без бутылки помирать надо. Тут, друг, во как... вся округа бутылкой питается.

И действительно, Знеберский завод вырабатывает в год до двух миллионов бутылок.

Тот же лес по обеим сторонам: густой, красивый, выращенный на воле без топора и без пилы. Старая дорога углубляется в самую чашу, где слышится только меланхолическое посвистывание иволги, да крики неугомонных синиц.

- Последнее время путь этот доживает... И пора ему на покой, - много послужил он.

- Разве будет другая дорога?

- Узкоколейную железную стоим. Нужно поднять производительность этой местности, а то заграничная бутылка начинает вытеснять. Как удешевится путь, тогда мы поборемся.

На этот район удивительное влияние имели маленькие чугунки – первый пример у частных людей в России. Узкоколейные чугунки местного типа обходятся от 7 до 9.000 р. за версту и требуют самых ничтожных цифр на свою эксплуатацию.

В Знеберь такая же дорога окончится к зиме. Она тоже пройдет этим тенистым, этим свежим и крепким лесом.

Через два или три часа вдали мелькнули старые постройки. Громадная гута, очевидно давно не видавшая ремонта, вырезалась на светлом фоне ясного неба всеми своими горбами и неуклюжими кровлями. Детвора сбежалась кругом нам на встречу и сплошную стеной стала, тараша глаза на давно невиданных посетителей. Внутри гуты прохладный сумрак, точно в подземелье вошли какое-то. Под ногами хрустят обломки стекла. Кучи золы по сторонам. Целые стаи воробьев развозились кругом. Длинная печь без дойницы, точно открытый археологами древний саркофаг, по середине; в один общий резервуар ее, когда мы входили, сыпали обломки старых бутылок. Шум стекла на минуту покрыл и детские крики, и громкое, нахальное оранье воробьев, и говор толпы рабочих, стоявших в стороне. Разгоревшиеся любопытные детские глаза торопливо высматривают нас, точно боясь, что вот-вот мы исчезнем в одно мгновение ока. Сверху широкая полоса света прорвалась в дыру, оказавшуюся между балками кровли, и ярко ложится внутри гуты, выхватывая из окружающего сумрака маленькую девочку в кумачном сарафанчике с большими полуиспуганными глазами и целым ворохом белокурых волос на голове. Нос весь у нее в саже, пальцы тоже. Один как был в носу, так и остался.

- Здравствуй, Сандрильона! – обернулся я к ней.

Вспыхнула, покраснела, посмотрела на подруг и медленно отступила назад в сумрак. Теперь яркий луч сверху играл только на осколках стекла, да на серой массе саркофага, где варилась бутылочная масса. В другую скважину кровли скоро тоже прорвались солнечные лучи, точно золотые нитки протянувшиеся внутрь, но они пропадают не дойдя до пола, точно бояться этой тьмы, не осиливают ее. Вот навалила толпа знеберских баб. Все в ярких костюмах: желтые с красным и зеленым. Одна стала под широкую полосу света – точно загорелась вся.

Когда-то все одевались так. Теперь только в деревнях, которые подальше, еще остались эти костюмы. Остальных одевает страсть к отвратительному однообразию неуклюжего городского костюма.

А между тем в этой оригинальной яркости красок, в самых неожиданных сочетаниях их, все женщины казались красивыми. Как это не хватает у людей вкуса одеваться не как принято, а как лучше. Похожий на это платье, костюм поселенок южной Франции – в Арле удержался до сих пор. Его не могли осилить ни мода, ни нивелированные вкусы гальского мещанства. У нас, к сожалению, на этот счет поподатливее. На некоторых из здешних баб были нашиты позументы, как жар горевшие под солнцем. Где было посветлее, я, случайно посмотрев вверх, увидел балки кровли, сплошь облепленные гнездами.

- Что это у вас, - неужели воробыи?

- Да, они тут птенцов страсть сколько выводят. Самая гутенская птица. Они очень дым этот любят. Без них бы и работать скучнее было.

Не успел я отойти, как позади послышался плачь. Смотрю, какая-то баба бросилась в ноги хозяину.

- Что ты, что ты!.. Это, матушка, перед Богом только.

- Отец родной, помоги! Двое детей остались. Есть нечего.

- Хабаров!.. Действительно нуждается?

- Да.

- А паек ей выдают?

- Ее муж не у нас работал.

- Назначь ей. Пускай кормится с детьми, пока вырастут. Избу дай, если плоха.

Мальчики подымутся, работники будут.

Здешняя печь, изобретенная на месте, становится недостаточной.

Французская бутылка с Одессе вытеснила здешнюю. Русская лучше качеством, но дороже, тогда как французская дешевле. Там из печи зараз вынимают 20.000, а у нас только 6.500 бутылок. Да кроме того наши железные дороги так небрежно обращаются со своим стеклом, что зачастую вместо бутылок привозят один бой. И воровства вдоволь.

- Вы знаете, иной раз посылаешь машину, так на железной дороге ухитряются части ее украсть. Заказчик получает и, разумеется, винит заводы. Приходится досылать второй раз.

- А взыскать нельзя?

- С железных дорог-то?

- Да.

- Вы, батюшка, откуда?.. Сними никакой управы нет. Делают, что хотят.

Сюда мы привезли с собой выписанного из Франции заводчика Гюитьера. Он должен был перестроить печь. С ним и с рабочими устроили род военного совета. Рабочим переводилось то, что говорил француз, а рабочие вставляли свои очень дальние замечания. Услышав совсем непонятные звуки, детвора зашевелилась во всех щелях, куда было попяталась.

- Ну, какой он? – слышится из одной щели.

- Дайте, братчики, послушаем. Ишь как дедушка на всех языках может, - слышится в другой.

Точно тараканы переговариваются. Один даже не мог совладать с любопытством, выполз, пробрался в толпу, стал перед носом Гюитьера, вылупил на него глаза и точно в рот ему вскочить желает. Гюитьер между прочим взял его за нос. Изумленного мальчишку и это не остановило, он даже не перевел взгляда с луб француза.

- Что, Монька, чудно? – слышалось потом

- Уж как чудесно!

- Что-ж, ты видал, как ёнбалякает?

- Ён балакает по-своему... Язык его все больше по щеке ходил.

- Ты видал?

- Видал... Он рот откроет, а язык у его сейчас в щеку упрется.

- Оттого он и баит так.

- У нас, брат, Монька смелый. Ён до всего дойдет.
- Ён француз не страшный. Меня перстами за нос взял.
- Ну?
- Не больно. Я стоял.

- А ты бы у яво пряников попросил! – слышится практический совет со стороны. – У явок армат-то вишь как выпятился, должно быть пряники в ём.

- Скажите, - обратился я к одному из рабочих потолковее, - если рабочий умрет здесь, что дается его семье?

Оказалось, что семья их обеспечивается всем, пока дети не подрастут и не будут в состоянии работать сами. Даже женщине, если заболит на работе, как бы ни была молода, выдается по ее смерти хлеб, масло, соль и по 60 коп. в месяц. Сверх того за нее подушные платит тоже завод.

- Хата у меня развалилась вся! – является одна из этих пенсионерок.

Посмотрели: действительно, ветха.

- Сколько новых построено?

- Десять пока, но мы еще строим.

- Перевести ее в новую.

Новая изба, куда ее перевели с семьей, считается уже подаренной ей. Она – полная хозяйка. Ежегодно здесь строится по несколько десятков таких домиков для рабочих и для их семей. Вообще на меня произвела весьма отрадное впечатление та заботливость о судьбе рабочего, которая тут замечается повсюду. Что-то совсем уже непохожее на другие заводские места. В каждом заводе побольше есть врач и госпиталь, в котором число кроватей – от 10 до 50, смотря по необходимости. Провизор живет в Дядькове. В Людинове и Дядькове находятся большие аптеки. В самых маленьких больницах имеются фельдшера и маленькие аптеки. В некоторых есть и сиделки. Содержание больниц и аптек обходится в 35-40.000 руб. жалование врачам полагается при готовой квартире, отоплении, освещении и лошадях для развозов от 1.000 до 1.500 р. и фельдшерам от 200 до 300 р. в год. Фармацевту полагается около 600 руб. Население к больницам питает большое доверие. Чуть что, идут туда и лечатся. Но что меня поразило здесь, также как верно поразит и тех, кто по моим следам приедет сюда, это – незначительный процент больных. Их не видно между населением. Обстоятельство, свидетельствующее, что условия работы здесь, сравнительно разумеется с другими заводами, не особенно тяжелые.

В Знеберь к зиме является из чужих сел масса народа. Все это – голодное, оборванное, с голодными семьями. Деваться не куда.

- Дети пропадают совсем. «Есть нечего, - помогите».

- Что-ж вы тут делаете?

- Ну, и берем, кормится до лета. А уж свои чуть где нуждаются, те уж идут прямо, требуют как должного!

- Сколько у вас здесь постоянных рабочих?

- Двести, да вспомогательных шестьдесят, не считая детей.

- А этих?

- Не сочтешь... Туча целая работает. У нас их без счета.

- Наша баба страсть как плодлива.

- Плодливее бабы нет, что уж! Ишь их сколько бегают-то, мелюзги этой! Сегодня столько, а завтра иначе – не сочтешь!

Дети действительно около обжигальной печи подымали целые тучи пыли, босыми ногами бегали они по осколкам стекла.

- Не обрезаются?

- Привыкли, ничего. Мы сами все с измалетства по стеклу ходим и стеклом живем!

Стекло в большом резервуаре варится от 14 до 18 часов, затем в течение семи часов из него выдувают разом 6.500 бутылок. При этом заработки совсем различные с

Дядьковом и Ивотом. Мастера здесь получают от 28 до 30 руб. в месяц на своих харчах, а рабочие от 6 до 10 руб. на хозяйском содержании, также как и дети, которым сверх того уплачивают от 2 до 3 руб. в месяц. Недалеко отсюда другой такой же завод, Старь, но мы туда уже не поехали, - слишком уже было довольно знакомится с стеклянным делом.

Когда мы ехали назад, набежала тучка и прыснуло на нас теплым весенним дождем.

- Слава Богу! – закрестились кругом. – Теперь трава подыметса чудесная.

- Жука, кажется, вырвится много! – озабоченно говорит кто-то.

- Жук... Это точно. Он подлый! – гудит бас Слюосарева.

- Нивам этот дождь – чудесно. Коль холод еще держится на земле, весь его выпарит.

- Хлебу, точно, хорошо! – басит Слюосарев.

А тучка уже была далеко, далеко и яркое солнце светило прямо в глубь зеленого, яркого леса.

**В. Немирович-Данченко.**

*(Продолжение следует)*